Конгревова ракета

Автор:
Роман Сенчин

Конгревова ракета

Роман Сенчин

Диалог

«Господствует мнение, что как бессмысленно копаться в статуях, стоящих на площадях, так же бесполезно и открывать книги, исследованные, изученные до последнего слова сотнями тысяч людей десятков предыдущих поколений». Споря с этим своим наблюдением, Роман Сенчин делится впечатлениями от чтения стихотворений Гавриила Державина, статей Виссариона Белинского, прозы Писемского, Леонида Андреева, Михаила Шолохова, Андрея Платонова, и сопоставляет их творчество с произведениями наших современников – Наума Коржавина, Валентина Распутина, Бориса Екимова, Захара Прилепина, Сергея Шаргунова, Дениса Гуцко, Анны Козловой.

Роман Сенчин

Конгревова ракета

Предисловие

«Чистые поэты» или «чистые прозаики», не отступающие в жанр критики, всегда вызывают у меня недоверие. Возникает чувство, что ничего они вокруг не замечают, живут в своем стеклянном шаре, мысленно (именно мысленно) общаясь лишь с Бродским или Достоевским, с Тютчевым или Рубцовым,

Пастернаком…

Редкие «кухонные разговоры» о литературе чаще всего демонстрируют, что они, «чистые», читают, знают, замечают, анализируют, высказывают очень интересные и верные суждения о своих современниках, предшественниках, классиках.

Я не обладаю даром интересно рассказывать о литературе вслух, не умею анализировать внутри головы. Для того чтобы поделиться своими впечатлениями, в чем-то разобраться, мне нужна ручка, бумага. Еще в детстве я пытался формулировать впечатления о прочитанной книге в тетрадке, а много позже стал писать нечто вроде рецензий, обзорных статей, которые, к моему удивлению, с готовностью брали в литературной периодике.

Существует устоявшееся мнение, что мы – наследники Пушкина, Толстого, Чехова. Но для меня очевидно, что русская литература XIX века каменеет, бронзовеет, сдается в архив. Пишущие романы и повести, стихи, пьесы, кажется (по крайней мере, возникает и не исчезает такое ощущение), не открывают так называемых классиков, – их книги стоят на полках как памятники. Господствует мнение, что как бессмысленно копаться в статуях, стоящих на площадях, так же бесполезно и открывать книги, исследованные, изученные до последнего слова сотнями тысяч людей десятков предыдущих поколений. Классика отдана литературоведам…

Был такой замечательный проект – «Литературная матрица». Очерки современных поэтов и прозаиков о писателях прошлого. Совсем другой, часто неожиданный, удивительный взгляд на вроде бы устоявшееся, давно решенное историками литературы, профессорами филологии… Вышло четыре тома; проект вроде бы закрыт. Правда, на мой взгляд, не хватило еще одного тома – очерков поэтов и прозаиков о своих современниках. Конечно, рискованно – литераторы, как правило, очень ранимы, – но полезно. И читателям, и самим писателям. Лично я с огромным интересом читаю в старых журналах и газетах слова, например, Передреева о Рубцове, Евтушенко о первой книге Рейна, Проханова о Маканине… Сейчас подобное – редкость.

Тексты, собранные в этой книге, писались в разные годы, но повод написания один – разобраться в сложных чувствах после чтения стихотворений Державина, статей Белинского, романа «Тысяча душ» Писемского, рассказов Екимова, очерков 60-х годов Распутина, произведений моих литературных сверстников…

Что-то мне в итоге удалось себе объяснить, может быть, в чем-то эти очерки помогут разобраться и тем, кто откроет мою «Конгревову ракету».

Я пиит – я не умру (О Державине)

Слова поэта и критика Аполлона Григорьева «Пушкин – наше все», произнесенные в середине позапрошлого века, считаются бесспорными, своего рода истиной отечественной литературы.

Действительно, с Пушкина, по существу, началась наша словесность на современном русском языке, у Пушкина намечены темы, приемы, мотивы, интонации, которые последующие поколения писателей развивают, разрабатывают на протяжении уже почти двухсот лет. И если время от времени Пушкина пытаются «сбросить с парохода современности» (а это началось отнюдь не с футуристов в начале двадцатого столетия, можно вспомнить, что творчество Пушкина призывал сдать в архив еще Белинский в статье «Литературные мечтания», опубликованной 1834 году, при жизни Александра Сергеевича), то эти попытки в итоге лишь доказывали необходимость и свежесть того, что Пушкин создал.

Да, «Пушкин – наше все», но не стоит считать, что до него ничего не было. Это не так.

Не буду сейчас погружаться в глубь веков, в эпоху древнерусской и вообще допетровской литературы. Тем более что многие из ее образцов Пушкину и его старшим современникам знакомы не были – изучение, расшифровка древних текстов в начале XIX века лишь зарождались. Можно отметить, что «Слово о полку Игореве» было впервые опубликовано в 1800 году, «Житие протопопа Аввакума» – в 1861-м. Русский фольклор тоже лишь начинал привлекать к себе внимание.

В общем, русская литература в XVIII веке возникла, по существу, на пустом месте. (Наверняка здесь кто-нибудь вознегодует; я отобьюсь утверждением Пушкина, кроме всего прочего автора статьи о «Слове о полку Игореве»: «Словесность наша явилась вдруг в XVIII веке».) Оригинальных произведений мы поначалу почти не видим – было, конечно, много переводов, переложений

западноевропейских образцов, но и тогда перед литераторами встала проблема, на какой язык эти образцы переводить, перекладывать.

Тот век изобиловал спорами, дискуссиями между писателями, а то и беспощадными войнами с драками, доносами, уголовными делами. Каждый из тех, кто занимался литературой, в первую очередь стихотворством, был и теоретиком литературы, критиком, идеологом. Например, у монаха-литератора Феофана Прокоповича, жившего в годы правления Петра I, есть огромный трактат «О поэтическом искусстве»… Примечательно, что трактат этот был написан на латыни (и в переводе читается легко и местами представляется до сих пор актуальным), попытки же Феофана сочинять стихотворения и трагедии на русском кажутся нам откровенной тарабарщиной. Тем не менее и там есть некоторые штрихи живого, которые последователи Феофана Прокоповича стали развивать и в то же время оспоривать, двигая тем самым литературу дальше.

Наверняка мало кто читал, но наверняка большинство слышали фамилии – Кантемир, Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков, Херасков («ласков – Херасков – неожиданная рифма», – с иронией заметил однажды Пушкин). Это пятерка крупнейших литераторов XVIII века. Почти всего века… Впрочем, они – лишь вершина айсберга. Литераторов на самом-то деле уже тогда было очень и очень много. Читать их произведения действительно тяжкий труд да и вряд ли благодарный. От этого чтения можно заболеть физически, к тому же немудрено утратить вкус к литературному слову, заразиться грамматикой того времени.

Но чтобы понять, как наша литература рождалась, как и через что пробиралась она к Пушкину, хрестоматии полистать стоит. Особенно интересно, по-моему, предисловие Тредиаковского к роману «Езда в остров любви» (это перевод с французского, но очень вольный), написанное в 1730 году. В предисловии писатель заявляет, что в «мирской книге», каковым является роман, «славенский (церковнославянский. – Р. С.) язык» неуместен, так как «славенский у нас есть язык церковный», к тому же он «очюнь темен, и многие его не разумеют». Литературным языком Тредиаковский призывает считать «российский язык», «каковым мы меж собой говорим».

Да, мысль смелая и прогрессивная, но воплотить ее в жизнь оказалось сложно. Потребовалось несколько десятилетий, чтобы литература на «российском языке» перестала быть «очюнь темной»… Впрочем, литература среднего и низкого «штилей» (жанров) – сатира, лирические стихотворения, комедии, басни, эпиграммы – уже под конец XVIII века была вполне читабельной. А вот

героические поэмы, оды – литература высокого штиля – долго оставалась «очюнь темной». По существу, и у Пушкина есть стихотворения, читать которые сложно, да и в современной поэзии мы можем найти следы этого высокого штиля. К примеру, у Иосифа Бродского, Александра Кушнера…

Теория трех штилей принадлежит Михаилу Ломоносову и заключается в правиле употребления разных слов в произведениях разного штиля. Стоит отметить хотя бы одно правило оттуда: разговорные слова в героической поэме запрещались строго-настрого. И правило это хоть и нарушалось, но в теории было незыблемо еще во времена Пушкина. Александру Сергеевичу здорово попало от ценителей поэзии за смешение штилей. «Разве так мог разговаривать русский богатырь?!» – возмущались критики, захлопывая поэму «Руслан и Людмила». «Лучше свобода и ошибки, чем чопорная наша правильность», – отвечал Пушкин.

С одной стороны, теория Ломоносова о трех штилях была закономерной – тогда, в середине XVIII века, необходимо было создать некую основу для дальнейшего развития языка, жанров. С другой стороны, жесткие рамки, в которые эта теория заключала не только жанры, но и пласты русского языка, тормозили это самое развитие. Особенно в серьезной поэзии. Мы легко можем увидеть, как литераторы умышленно уродуют слова, фразы, чтобы подогнать их под тот или иной поэтический размер, пытаются воскресить слова мертвые, искусственно облагородить просторечные…

Русскую поэзию в ту эпоху стремились сделать наукой (впрочем, подражая в этом еще древним грекам), убивая тем самым живые ноты.

Стихотворцы, – писал пусть не самый талантливый, но, на мой взгляд, особенно остро чувствующий необходимость дать поэзии больше свободы, литератор того времени Сумароков, – которые, следуя единым только правилам, а иногда и единому желанию ползти на Геликон, нимало не входя в страсть и ничего того, что им предложит, не ощущая, пишут только то, что им скажет умствование или невежество, не спрашиваяся с сердцем или паче не имея удобства подражать естества простоте, что всего писателю трудняе, кто не имеет особливого дарования, хотя простота естества издали и легка кажется. Что более стихотворцы умствуют, то более притворствуют, а что более притворствуют, то более завираются.

Впрочем, попытки Сумарокова написать нечто серьезное, приводили к комичным результатам. И недаром еще при жизни он прослыл беспомощным графоманом…

Все это я привел для того, чтобы показать, в какой среде появился наш герой и, как мне кажется, самый крупный предшественник Пушкина Гавриил Романович Державин.(В последние десятилетия в литературоведение вернулась традиция называть Державина Гаврилой. Но в первых строках автобиографии он величает себя Гавриилом. Этого варианта буду придерживаться и я.)

Некоторые ценители поэзии, кстати сказать, считают Державина пушкинским предшественником лишь формально – они до сих пор оплакивают то, что направление, которое символизировал Державин, вскоре после его смерти зачахло и стало экспонатом в музее русской литературы.

Чтобы вновь не растекаться по древу нашей литературы, скажу по этой теме лишь несколько слов. Несмотря на обилие в первые десятилетия XIX века модных поэтов, люди со вкусом выделяли двух не самых модных: Пушкина и Баратынского. И если Пушкина считали хоть и поразительно одаренным, но ветреным, легким, то Баратынский был, по общему мнению, поэтом-философом, поэтом поистине державинской силы. И как главную похвалу Александру Сергеевичу его друзья восприняли восклицание Баратынского, участвовавшего в разборе пушкинского архива: «Пушкин – мыслитель!» Правда, потом последовало: «Можно ли было это ожидать?» Да, ожидал мало кто – общество было воспитано на иной поэзии, ориентирами были для нее другие поэты.

Образцом поэта в то время был Державин. Уходящая, но величественная натура.

Осталось много прижизненных изображений Гавриила Романовича. На большинстве он изображен в мундире, при орденах. Совсем не поэт, а вельможа, государственный муж. Но и там, где он не в мундире, Державин не менее значителен – чего стоит только портрет Николая Тончи: пожилой, седовласый, красивый мужчина сидит у подножия скалы, на нем огромная медвежья шуба, бобровая шапка, на губах – преисполненная достоинства полуулыбка… Тоже государственный муж, но в редкие минуты отдыха, доброго расположения духа. И лишь последние портреты, где у Державина на голове колпак, на шее платок, в глазах гаснущая жизнь, губы безвольно опущены, показывают, что это некто больше вельможи. Вельможа бы и не согласился позировать в таком виде, а наперсник муз – вполне.

Он родился в 1743 году то ли в Казани (как он сам утверждал), то ли в селе Сокуры (именьице родителей) Казанской губернии. По семейному преданию, Державины происходили из древнего татарского рода. В XV веке предок Гавриила Романовича, Багрим-мурза, выехал в Москву из Большой Орды и после крещения, получив имя Илья, поступил на службу к великому князю Василию Темному. У этого Ильи одного из внуков звали Держава. Так появилась фамилия «Державины».

Родители Гавриила Романовича были мелкопоместными дворянами, владели примерно ста пятьюдесятью крестьянами. Отец, секунд-майор Роман Николаевич, умер, когда будущему поэту было лет десять. Вдова осталась с двумя сыновьями почти без средств к существованию, долго судилась с соседом из-за клочка земли. Брала в суд детей…

Недоучившись в гимназии, Гавриил вынужден был поступить на военную службу – рядовым в Преображенский полк в Петербурге. Денег, чтобы снимать жилье, не было, и он жил в казарме вместе с солдатами – вчерашними крестьянами.

Начало его службы совпало с государственным переворотом, в результате которого на престол была возведена Екатерина II. И сцена – императрица на белом коне в мундире Преображенского полка, с обнаженной шпагой в руках – навсегда осталась в памяти Державина. И не только в памяти – позже он не раз обыгрывал этот исторический эпизод в своих стихотворениях…

Военная, а затем гражданская служба Державина пришлись на годы царствования Екатерины, Павла I и начало правления Александра I. В общей сложности больше сорока лет. Лишь осенью 1803 года он был освобожден от государственных постов («уволен от всех дел»). А посты были неслабые – в том числе министр юстиции, генерал-прокурор Правительствующего сената, еще несколько. А до этого Державин участвовал в подавлении восстания Пугачева, был губернатором Олонецкой (нынешняя часть Карелии, Ленинградской, Вологодской и Архангельской областей), Тамбовской губерний; занимал пост кабинет-секретаря Екатерины II, президента Коммерц-коллегии (так сказать, главный по торговле)…

Я не буду подробно описывать яркую и противоречивую (бывал и жесток, и добр, выступал то реформатором, то консерватором), сложную («даже подвергаем под суд»), как и сама та эпоха, биографию нашего героя. О Державине написано много. Советую, например, недавно изданную в серии «Жизнь замечательных

людей» книгу Арсения Замостьянова «Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век». А лучше всего, собравшись с духом, прочитать длинную, подробную автобиографию Державина – «Записки из известных всем происшествиев и подлинных дел, заключающие в себе жизнь Гаврилы Романовича Державина».

Впрочем, о себе и своем времени лучшего всего сказал уже на закате земного пути Державин стихами… Приготовься, читатель, встретить незнакомые слова, непривычные обороты, неправильные ударения – все-таки написано это два с лишним столетия назад. Но прочитай, не пропусти.

Не умел я притворяться,

На святого походить,

Важным саном надуваться

И философа брать вид:

Я любил чистосердечье,

Думал нравиться лишь им,

Ум и сердце человечье

Были гением моим.

Если я блистал восторгом,

С струн моих огонь летел.

Не собой блистал я – богом;

Вне себя я бога пел.

Если звуки посвящались

Лиры моея царям, —

Добродетельми казались

Мне они равны богам.

Если за победы громки

Я венцы сплетал вождям, —

Думал перелить в потомки

Души их и их детям.

Если где вельможам властным

Смел я правду брякнуть вслух, —

Мнил быть сердцем беспристрастным

Им, царю, отчизне друг.

Если ж я и суетою

Сам был света обольщен, —

Признаюся, красотою

Быв плененным, пел и жен.

Словом, жег любви коль пламень,

Падал я, вставал в мой век.

Брось, мудрец! на гроб мой камень,

Если ты не человек.

Это стихотворение – «Признание», – на мой взгляд, один из первых примеров исповедальной лирики в русской литературе. Современники знали Державина в первую очередь как автора многочисленных од – торжественных, патетических стихотворений, посвященных великим событиям и героям, – но он был прежде всего лирик, причем в лирических своих стихотворениях и в иронических миниатюрах не забывал пофилософствовать. Точнее, не забывал о мысли. И не боялся, в отличие от большинства своих собратьев по перу, авторского «я». А это было в то время рискованно.

Вообще здесь стоит остановиться на том, кто был поэт двести двадцать – двести пятьдесят лет назад. «Пиита», «пиит», как тогда часто называли стихотворцев.

Нам сегодня очень сложно представить поэта-мэра, поэта-депутата, губернатора, вообще чиновника, поэта-физика… Нет, рифмуют многие (например, бывший спикер Государственной думы Борис Грызлов однажды взял и написал футбольный марш под названием «Россия, вперед! Настал наш

черед!», который, правда, быстро забылся), но это воспринимается как хобби или причуды сильных мира сего. А в XVIII веке поэт-вельможа, поэт-ученый были в порядке вещей, а свободных поэтов – поэтов без других занятий – почти не встречалось. Поэт должен был где-то служить.

Вспомним, что Александр Сергеевич Пушкин большую часть взрослой жизни находился на службе: с 1817-го до 1824 года – в Коллегии иностранных дел (отставлен за атеизм и отправлен в ссылку в Михайловское); с 1831-го до смерти в 1837-м был историографом, а 1833 году ему было присвоено придворное звание камер-юнкера (комнатного молодого человека). К счастью, во времена Пушкина обязанность литературно одаренным людям писать государям и непосредственным начальникам оды ушла в прошлое.

Пушкиным, кстати сказать, записано немало историй («анекдотов») о своих предшественниках-поэтах. Есть и такая: «Тредьяковскому не раз случалось быть битым. В деле Волынского сказано, что сей однажды в какой-то праздник потребовал оду у придворного пииты Василия Тредьяковского, но ода была не готова, и пылкий статс-секретарь наказал тростию оплошного стихотворца».

Можно продолжить цитатой из очерка Николая Некрасова «Петербургские углы»:

Поэт Петров официально состоял при Потемкине в качестве воспевателя его подвигов и для того во время его походов всегда находился в обозе действующей армии. По примеру великих земли, и маленькие тузы или козырные хлапы имели своих пиитов и любили получать от них оды в день рождения, именин, бракосочетания, крестин дитяти, получения чина… – И еще оттуда точное замечание: – Пиита обязан был держать всегда наготове свое официальное вдохновение.

Видимо, о таких поэтах написано, пожалуй, самое известное сегодня стихотворение Державина (благо коротенькое):

Поймали птичку голосисту

И ну сжимать ее рукой.

Пищит бедняжка вместо свисту,

А ей твердят: «Пой, птичка, пой!»

Да и сам Державин если и не писал оды по прямому приказу (а написано им в этом жанре предостаточно), то уж нередко по расчету – наверняка. В его время талантливо сочиненная, вовремя представленная ода могла стать для безвестного человека отличным толчком для карьеры.

Так, по существу, случилось и с Державиным. В 1783 году (в сорок лет, между прочим) он опубликовал оду «Фелица», от которой императрица Екатерина II, по ее собственному признанию, «как дура плакала», а потом отправила виновнику сладких слез осыпанную бриллиантами табакерку с червонцами. И хоть врагов и завистников у чиновника-поэта из-за этого только добавилось, но взгляд Екатерины его больше уже не терял. Как, добавим, и позже взгляд ее сына Павла (которому Державин еще в 1773-м посвятил оду «На бракосочетание великого князя Павла Петровича»), и взгляд ее внука. Тем более Гавриил Романович не давал о себе забыть – вслед за «Фелицей» последовала «Благодарность Фелице», затем – «Изображение Фелицы»… Екатерине посвящено множество его произведений.

Но остановлюсь на «Фелице», которая, бесспорно, является удачей в творчестве Державина. Да и вообще русскую поэзию она двинула далеко вперед. И хотя нередко потом сам Гавриил Романович возвращался к плоской архаике, но тем не менее это произведение очень сильно раскрепостило и его (уже немолодого человека и высокопоставленного сановника).

«Фелица» – необычная ода. Во-первых, автор обращается к императрице не напрямую, не как некий Гаврила Державин к своей государыне. Очень значим подзаголовок – «Ода к премудрой Киргиз-Кайсацкой царевне Фелице, писанная Татарским Мурзою, издавна поселившимся в Москве, а живущим по делам своим в Санкт-Петербурге. Переведена с арабского языка». Это можно считать маскировкой, а можно – художественным приемом.

Во-вторых, Державин, кажется, впервые в русской литературе так явно нарушил теорию Ломоносова (которого, впрочем, до конца дней считал своим учителем) о трех штилях, соединив оду с сатирой, влив в нее «забавный русский слог», что позже поставит себе в одну из главных заслуг в стихотворении «Памятник» – «дерзнул в забавном русском слоге о добродетелях Фелицы возгласить». И не

только возгласить о добродетелях, но и пока осторожно (потом, позже, смелее, даже пугая) давать «царям» советы, «говорить истины».

И уже здесь, в этой первой опубликованной под своим именем оде, проявляются мотивы исповеди – если и не автор, то повествователь подробно рассказывает о своей жизни, обращая внимание на недостатки и пороки. Ода длинная, поэтому приведу несколько характерных строф:

…Подай, Фелица! наставленье:

Как пышно и правдиво жить,

Как укрощать страстей волненье

И счастливым на свете быть?

Меня твой голос возбуждает,

Меня твой сын препровождает;

Но им последовать я слаб.

Мятясь житейской суетою,

Сегодня властвую собою,

А завтра прихотям я раб.

Мурзам твоим не подражая,

Почасту ходишь ты пешком,

И пища самая простая

Бывает за твоим столом;

Не дорожа твоим покоем,

Читаешь, пишешь пред налоем

И всем из твоего пера

Блаженство смертным проливаешь;

Подобно в карты не играешь,

Как я, от утра до утра.

<…>

Таков, Фелица, я развратен!

Но на меня весь свет похож.

Кто сколько мудростью ни знатен,

Но всякий человек есть ложь.

Не ходим света мы путями,

Бежим разврата за мечтами.

Между лентяем и брюзгой,

Между тщеславья и пороком

Нашел кто разве ненароком

Путь добродетели прямой.

<…>

Едина ты лишь не обидишь,

Не оскорбляешь никого,

Дурачествы сквозь пальцы видишь,

Лишь зла не терпишь одного;

Проступки снисхожденьем правишь,

Как волк овец, людей не давишь,

Ты знаешь прямо цену их.

Царей они подвластны воле, —

Но богу правосудну боле,

Живущему в законах их.

<…>

Слух идет о твоих поступках,

Что ты нимало не горда;

Любезна и в делах, и в шутках,

Приятна в дружбе и тверда;

Что ты в напастях равнодушна,

А в славе так великодушна,

Что отреклась и мудрой слыть.

Еще же говорят неложно,

Что будто завсегда возможно

Тебе и правду говорить.

Неслыханное также дело,

Достойное тебя одной,

Что будто ты народу смело

О всем, и въявь, и под рукой,

И знать и мыслить позволяешь

И о себе не запрещаешь

И быль, и небыль говорить;

Что будто самым крокодилам,

Твоих всех милостей зоилам,

Всегда склоняешься простить…

А вообще – прочитайте целиком. В первую очередь, это очень забавное, артистичное произведение. И кстати, Екатерина II приняла игру Державина в мурзу и киргизскую царевну: тот ее подарок – драгоценная табакерка – была в пакете, на котором императрица написала: «Из Оренбурга от Киргиз-Кайсацкой

царевны Державину».

После успеха «Фелицы» Гавриил Романович в короткое время сочинил еще несколько больших од. В том числе такой философско-поэтический шедевр, как «Бог». Не могу не процитировать две строфы. Поразительные рассуждения для человека той эпохи:

Ты есть! – природы чин вещает.

Гласит мое мне сердце то,

Меня мой разум уверяет,

Ты есть – и я уж не ничто!

Частица целой я вселенной,

Поставлен, мнится мне, в почтенной

Средине естества я той,

Где кончил тварей ты телесных,

Где начал ты духов небесных

И цепь существ связал всех мной.

Я связь миров, повсюду сущих,

Я крайня степень вещества;

Я средоточие живущих,

Черта начальна божества;

Я телом в прахе истлеваю,

Умом громам повелеваю,

Я царь – я раб – я червь – я бог!

Но, будучи я столь чудесен,

Отколе происшел? – безвестен;

А сам собой я быть не мог.

Здесь стоит сказать, что ода «Фелица» и последующие произведения, сделавшие Державина главным поэтом того времени, были созданы не вдруг почувствовавшим в себе литературный дар человеком. Если верить самому нашему герою, он стал пробовать себя в писании стихов и в переводах чуть ли не в детстве. К сожалению, ничего из тех опытов не сохранилось – Державин сжег их в марте 1770 года, когда ему было двадцать семь лет.

Какой, казалось бы, романтический жест: уничтожить написанное ранее и начать с чистого листа. Примеров история знает немало. На самом деле, сожжение рукописей имело вполне прозаическую причину.

Дело в том, что, живя в Москве, Державин заболел карточной игрой, погрузился в разврат и пьянство. Почувствовав, что гибнет, он решил вырваться из омута и бросился в Петербург…

Далее дадим слово самому Гавриилу Романовичу (в своих «Записках» он говорит о себе в третьем лице, что в те времена было традицией):

Подъезжая к Петербургу в 1770 году, как уже тогда моровое поветрие распространялось, нашел на Ижоре или Тосне заставу карантинную, на которой должно было прожить две недели. Это показалось долго, да и жить за неимением денег было нечем; то старался упросить карантинного начальника о скорейшем пропуске, доказывая, что он человек небогатый, платья у него никакого нет, которое бы окуривать и проветривать должно было; но как был у него один сундук с бумагами, то и находили его препятствием; он, чтобы избавиться от оного, сжег при караульных со всем тем, что в нем ни было, и, преобратя бумаги в пепел, принес на жертву Плутону все, что он во всю молодость свою чрез 20 почти лет намарал, как то: переводы с немецкого языка и свои собственные сочинения в прозе и в стихах. Хороши ли они или дурны были, того теперь сказать не можно; но из близких его приятелей кто читал, а особливо Христианина в уединении, Захария, весьма хвалили.

И видимо, сразу по прибытии в Петербург, Державин написал стихотворение «Раскаяние»:

Ужель свирепства все ты, рок, на мя пустил?

Ужель ты злобу всю с несчастным совершил?

Престанешь ли меня теперь уж ты терзати?

Чем грудь мою тебе осталось поражати?

Лишил уж ты меня именья моего,

Лишил уж ты меня и счастия всего,

Лишил, я говорю, и – что всего дороже —

(Какая может быть сей злобы злоба строже?)

Невинность разрушил! Я в роскошах забав

Испортил уже мой и непорочный нрав,

Испортил, развратил, в тьму скаредств погрузился, —

Повеса, мот, буян, картежник очутился;

И вместо, чтоб талант мой в пользу обратил,

Порочной жизнию его я погубил;

Презрен теперь от всех и всеми презираем, —

От всех честных людей, от всех уничижаем.

О град ты роскошей, распутства и вреда!

Ты людям молодым и горесть, и беда!

Москва, хотя в тебе забавы пребывают,

Веселья, радости живущих восхищают;

Но самый ты, Москва, уж тот же Вавилон:

Ты так же слабишь дух, как прежде слабил он.

Ты склонности людей отравой напояешь,

Ко сластолюбию насильно привлекаешь.

Надлежит мрамора крепчае сердцу быть,

Как бывши молоду, в тебе бесстрастным жить.

По имени в тебе лишь мужество известно;

А что порок и срам, то всем в тебе прелестно.

Безумная тобой владеет слепота,

Мечтанье лживое, суетств всех суета.

Блестящие в сердцах и во умах прельщенья

Под видом доброты сугубят потемненья.

Ступаю на стези и ими в тму иду.

Прелестну нету сил преодолеть беду!

О лабиринт страстей, никак неизбежимых,

Борющих разумом, но непреодолимых!

Доколе я в тебе свой буду век влачить?

Доколе мне, Москва, в тебе распутно жить?

Покинуть я тебя стократно намеряюсь

И, будучи готов, стократно возвращаюсь.

Против желания живу, живя в тебе;

Кляну тебя, и в том противлюсь сам себе.

Магнитная гора, котора привлекает,

Живой в тебе пример, Москва, изображает:

Ты силою забав нас издали влечешь,

А притянув к тебе, ты крепко нас прижмешь.

Железо как та рвет, к себе та присвояет,

В тебе у нас так жизнь именье обирает.

Отдай скорей, прошу, отдай свободу мне,

И счастия искать не льсти в твоей стране:

Не милы мне в тебе и горы золотыя;

Но токмо б избежать лишь жизни сей мне злыя

И прежнее мое спокойство возвратить,

И независимость от счастья получить.

Я сердцем и душой, мне в том сам Бог свидетель,

Нелестно, что люблю святую добродетель.

Написав это, Державин, что называется, взялся за ум. Стал ревностнее служить, намекая начальству, чтобы не забывали присваивать ему очередные чины, сочинял стихи и переводил уже с прицелом на публикацию. И первая публикация состоялась достаточно скоро – в 1773 году в журнале «Старина и новизна» напечатан перевод с немецкого. Сразу затем – отдельным изданием вышла ода «На бракосочетание великого князя Павла Петровича». В 1776 году была издана книга «Оды, переведенные и сочиненные при горе Читалагае 1774 года». Правда, все эти издания появились без имени автора. За авторством Державина первым произведением стала «Фелица».

Да, герой наш взялся за ум; впрочем, срывы случались у него не раз. В том числе срывы и действительно рискованные… Выше я упомянул, что после «Фелицы» Екатерина II не забывала о ее авторе, и карьера Державина развивалась стремительно – в 1783 году стал членом Императорской Российской академии, в 1784-м – Олонецким губернатором, в 1786-м – Тамбовским.

И вдруг этот государственный муж публикует такое:

ВЛАСТИТЕЛЯМ И СУДИЯМ

Восстал всевышний бог, да судит

Земных богов во сонме их;

Доколе, рек, доколь вам будет

Щадить неправедных и злых?

Ваш долг есть: сохранять законы,

На лица сильных не взирать,

Без помощи, без обороны

Сирот и вдов не оставлять.

Ваш долг: спасать от бед невинных,

Несчастливым подать покров;

От сильных защищать бессильных,

Исторгнуть бедных из оков.

Не внемлют! видят – и не знают!

Покрыты мздою очеса:

Злодействы землю потрясают,

Неправда зыблет небеса.

Цари! Я мнил, вы боги властны,

Никто над вами не судья,

Но вы, как я подобно, страстны,

И так же смертны, как и я.

И вы подобно так падете,

Как с древ увядший лист падет!

И вы подобно так умрете,

Как ваш последний раб умрет!

Воскресни, боже! боже правых!

И их молению внемли:

Приди, суди, карай лукавых

И будь един царем земли!

Это стихотворение явилось не результатом частых у поэтов порывов – еще за несколько лет до публикации Державин создал переложение 81-го псалма царя Давида (цитировать псалом не буду, но советую найти, прочесть, сравнить с «Властителями и судиями»; по-моему, общего немного) и даже сумел поместить его в «Санкт-Петербургский вестник». Правда, в последний момент издатели испугались и вырезали стихотворение из уже отпечатанного «Вестника». На этот же раз произведение знаменитого, обласканного императрицей стихотворца напечатали без осложнений. Может, зная благонамеренность автора, редакторы и не вчитывались в суть.

В 1786 году публикация не вызвала шума. Времена тогда стояли относительно спокойные, умеренное вольнодумство было даже в моде.

Гром грянул спустя почти десятилетие. Дело было так. Державин решил издать собрание своих стихотворений и передал Екатерине рукописи. Чтоб оценила. Прошло несколько недель, автор затревожился. А дальше – слово самому Гавриилу Романовичу (напомню, что пишет он о себе в третьем лице):

Наконец, в третье воскресенье решился он спросить Безбородку, говоря: «Слышно, что государыня сочинения его отдала его сиятельству, то с чем, и будут ли они отпечатаны?» Он, услышав от него вопрос сей, побежал прочь, бормоча что-то, чего не можно было выразуметь. Не зная, что это значит, и будучи зван тогда обедать к графу Алексею Ивановичу Пушкину, поехал к нему. Там встретился с ним хороший его приятель Яков Иванович Булгаков. <…> Он спросил его: «Что ты, братец, пишешь за якобинские стихи?» – «Какие?» – «Ты переложил псалом 81-й, который не может быть двору приятен». – «Царь Давид, – сказал Державин, – не был якобинец, следовательно, песни его не могут быть никому противными». – «Однако, – заключил он, – по нынешним обстоятельствам дурно такие стихи писать». Но гораздо после того Державин узнал от француженки Леблер, бывшей у племянниц его Львовых учительницей, что во время французской революции в Париже сей самый псалом был якобинцами перефразирован и пет по улицам для подкрепления народного возмущения против Людовика XVI. Как Державин тогда совсем того не знал, то и был спокоен; но, приехав от графа Пушкина с обеда, ввечеру услышал он от посетившего его г. Дмитриева… что будто велено его секретно (разумеется, чрез Шешковского) спросить, для чего он и с каким намерением пишет такие стихи?

Интересно, что глава Тайной канцелярии Степан Шешковский к тому времени больше года как был в могиле. Может быть, Державина подвела память?.. Но так или иначе гром грянул, Державина, правда, не поразил. Ему удалось при помощи остроумной записки доказать, что никаких худых мыслей он не имеет и не имел, а стихотворение «Властителям и судиям» написал из лучших побуждений… Императрица простила его. Правда, речь о собрании стихотворений больше не заходила.

Отделался, можно сказать, легко. Некоторым не повезло. Великая французская революция, начавшаяся в 1789 году, заставила Екатерину подзакрутить гайки. Достаточно вспомнить, что в 1790-м был отправлен в ссылку в Сибирь Радищев (вместо четвертования), в 1792 году заточен в Шлиссельбургскую крепость журналист и издатель Новиков, вскоре туда же поместили вольнодумца Кречетова. Изымалась из продажи посмертно изданная трагедия Якова Княжнина «Вадим Новгородский», лично Екатериной было запрещено издание собрания сочинений Фонвизина… А никто из них вот так прямо не писал:

Воскресни, боже! боже правых!

И их молению внемли:

Приди, суди, карай лукавых,

И будь един царем земли!

Конечно, Гавриил Романович не был революционером. Но он видел много несправедливости, постоянные нарушения закона, воровство, сказочное богатство одних и крайнюю бедность других. В меру своих сил пытался исправить жизнь, но только наживал врагов. И в итоге написалась эта «гневна ода». Наверняка Державин надеялся с ее помощью открыть глаза императрице на истинное положение дел, даже припугнув высшей карой заставить «от сильных защитить бессильных».

Это вообще должно быть естественным стремлением любого творческого человека. И даже если плохо абсолютному меньшинству, творческие люди обязаны сделать так, чтобы это меньшинство заметила власть, помогла, «спасла от бед невинных»… Сегодня власть воспринимает критику в свой адрес, акции протеста, в которых нередко участвуют и деятели культуры, литераторы, как выступления врагов России, пятой колонны, нацпредателей. По-моему, это не так. Скорее, критиковать власть, участвовать в протестных митингах, шествиях

творческую интеллигенцию заставляет желание справедливости, пусть и невозможной ни в каком обществе, ни в одном государстве… К сожалению, мало сегодня произведений литературы, подобных «Властителям и судиям»… Да и вообще слово сегодня маловесно, а жаль – к слову «земным богам» стоило бы прислушиваться, в противном случае неуслышанное слово способно превратиться в действие. А Державин в своем стихотворении, как ни крути, как ни оправдывайся, и призывает к действию…

Чтобы смягчить впечатление, вызванное «Властителям и судиям», Державин написал стихотворения «Колесница» и «На панихиду Людовика XVI», где осуждал революцию и цареубийство, но в то же время продолжил разрабатывать тему «гневной оды»:

По смерти не возьмет с собою

Никто вещей своих драгих,

Блаженной жизнью здесь святою

Блажится меж духов благих:

А естьли здесь не освятится

И в злобе век свой проведет,

Между благими не вселится,

Его не облистает свет.

От нашей воли то зависит,

Чтоб здесь и там блаженным быть,

Себя унизить иль возвысить,

Погребсть во тьме иль осветить;

На вышней степени мы власти

Свою теряем высоту:

В порочные упадший страсти

Подобен человек скоту.

Или вот еще:

Престола хищнику, тирану

Прилично устращать рабов,

Но Богом на престол воззвану

Любить их должно как сынов.

Причем оды с такими мыслями Гавриил Романович не прятал в стол, а представлял государям. И потом удивлялся, что попадает в немилость… Однажды Александр I, уставший от подобных стихотворений, вызвал уже престарелого, давно находящегося в отставке Державина и строго, с угрозой в голосе объявил ему: «Россия не бедствует!»

Свое «увольнение от всех дел», формально по собственному желанию, а на деле вынужденное, шестидесятилетний «пенсионер» Державин переживал тяжело. Многие его стихотворения той поры переполнены печалью, обидой, ощущением брошенности. Хотя он и пытается найти хорошее в своем нынешнем положении. Наиболее показателен в этом отношении сонет «Задумчивость». Он начинается с полной безнадеги, но финал хоть и грустен, но светел.

Задумчиво, один, широкими шагами

Хожу и меряю пустых пространство мест;

Очами мрачными смотрю перед ногами,

Не зрится ль на песке где человечий след.

Увы! я помощи себе между людями

Не вижу, не ищу, как лишь оставить свет;

Веселье коль прошло, грусть обладает нами,

Зол внутренних печать на взорах всякий чтет.

И мнится мне, кричат долины, реки, холмы,

Каким огнем мой дух и чувствия жегомы

И от дражайших глаз, что взор скрывает мой.

Но нет пустынь таких, ни дебрей мрачных, дальных,

Куда любовь моя в мечтах моих печальных

Не приходила бы беседовать со мной.

А затем Державин пишет поэму «Евгению. Жизнь Званская». В форме послания знакомому священнику, автор рисует свою жизнь в усадьбе Званка, не упуская никаких мелочей. Получается очень живописно, заманчиво, вкусно. Хочется оказаться в этом доме, погулять по саду, отобедать… Наверняка священник, прочитав, поспешил в гости к поэту…

В свободное время, которого теперь было много, Державин пишет подробные «Записки» о своей жизни, «Рассуждения о лирической поэзии, или об оде», «Объяснения на сочинения Державина относительно темных мест, в них находящихся…», драмы, басни и, конечно, стихи. Од мы теперь почти не встретим, поэта все больше увлекает лирика. В том числе и любовная.

Гавриил Романович участвует в литературных собраниях, видит сожженную Москву и воспевает русскую победу в войне 1812 года. Он успевает увидеть рождение таланта Пушкина, о чем сам Пушкин оставил слегка ироническое, но и прочувствованное воспоминание… За три дня до смерти, в июле 1816 года, Державин пишет свое последнее стихотворение.

Есть мнение, что это начало большого произведения, и в финале, по своему обыкновению, Державин дал бы читателю надежду. А в таком виде эти несколько строк оставляют, конечно, жуткое ощущение.

Река времен в своем стремленьи

Уносит все дела людей

И топит в пропасти забвенья

Народы, царства и царей.

А если что и остается

Чрез звуки лиры и трубы,

То вечности жерлом пожрется

И общей не уйдет судьбы.

Как страшно и величественно! Будто видишь песок на месте пирамид, слышишь полную тишину. Все пожралось жерлом вечности… И несмотря на полную безысходность, в стихотворении нет того ожесточения, с каким нередко покидают старики этот мир. Здесь – словно рассказ того, кто заглянул туда, далеко-далеко вперед, где уже ничего нет. Где все закончилось.

Стоит заметить, что эти строки были написаны в период, когда в русской литературе в моде были некоторая грусть, тема смерти. Но как «Река времен…» отличается от тех уютненьких элегий, жеманных баллад, что писали тогда Жуковский и другие поэты нового времени… Здесь уместно процитировать Гоголя: «Последние звуки Державина умолкнули, как умолкают последние звуки церковного органа, и поэзия наша по выходе из церкви очутилась вдруг на бале».

Закончить разговор о творчестве нашего героя хочется на светлой ноте.

У Державина, считающегося поэтом тяжеловесным, насупленным, очень много легких, веселых, игривых, иногда на грани приличия, стихотворений.

Дело в том, что в России, стране православной, строгих нравов, в то же время уважали и любили античную культуру – культуру, по сути, языческую. И под предлогом того, что подражаешь, скажем, Анакреонту (воспевавшему вино, чувственность), можно было публиковать стихи на очень пикантные темы…
У Державина можно найти, например, такое:

Если б милые девицы

Так могли летать, как птицы,

И садились на сучках,

Я желал бы быть сучочком,

Чтобы тысячам девочкам

На моих сидеть ветвях.

Пусть сидели бы и пели,

Вили гнезда и свистели,

Выводили и птенцов;

Никогда б я не сгибался,

Вечно ими любовался,

Был счастливей всех сучков.

А вот это стихотворение, «Цепочка», наверное, могут учить и читать современные молодые люди понравившимся девушкам, сопровождая чтением скромные, но со смыслом подарки. Уверен, сердце большинства девушек растает.

Послал я средь сего листочка

Из мелких колец тонку нить,

Искусная сия цепочка

Удобна грудь твою покрыть.

Позволь с нежнейшим дерзновеньем

Обнять твою ей шею вкруг:

Захочешь – будет украшеньем:

Не хочешь – спрячь ее в сундук.

Иной вить на тебя такую

Наложит цепь, что – ах! – грузна.

Обдумай мысль сию простую.

Красавица! – и будь умна.

…Уже вскоре после смерти Державина о судьбе его творческого наследия было два полярных мнения. Пушкин, например, не раз публично выступавший за «уважение к преданию», в частном общении отзывался о своих

предшественниках нередко более чем критически. Вот что он писал о Державине Антону Дельвигу:

По твоем отъезде перечел я Державина всего, и вот мое окончательное мнение: этот чудак не знал ни русской грамоты, ни духа русского языка – (вот почему он и ниже Ломоносова), – он не имел понятия ни о слоге, ни о гармонии – ни даже о правилах стихосложения. Вот почему он и должен бесить всякое разборчивое ухо. Он не только не выдерживает оды, но не может выдержать и строфы. Читая его, кажется, читаешь дурной, вольный перевод с какого-то чудесного подлинника. Ей-богу, его гений думал по-татарски – а русской грамоты не знал за недосугом. – И дальше: – Державин, со временем переведенный, изумит Европу, а мы из гордости народной не скажем всего, что мы знаем об нем (не говоря уж о его мастерстве). У Державина должно сохранить будет од восемь да несколько отрывков, а прочее сжечь.

Это мнение разделял и Гоголь, причем в статьях: «Он (Державин. – Р. С.) слишком повредил себе тем, что не сжег, по крайней мере, целой половины од своих».

Круто, да? – «сжечь». Но, во-первых, Пушкин и Гоголь не могли «перечесть Державина всего» – весь Державин был издан под конец XIX века. Во-вторых, действительно, Гавриил Романович часто не мог «выдержать строфы», в его стихотворениях немало шершавости, неправильностей, но у кого из поэтов все гладко и правильно? Тот же Пушкин тоже зачастую был вынужден нарушать законы стихосложения или при помощи неправильных ударений, буквы «я» в конце слов вместо мягкого знака, подгонять слова под рифму… Так что суждение Пушкина о Державине мне кажется не очень справедливым. А Гоголь… Гоголь очень повредил всем нам, что имел привычку жечь свои произведения.

Литературный критик Виссарион Белинский лет через тридцать после смерти Державина, в отличие от Пушкина, утверждал:

У Державина нет избранных стихотворений, которые могли бы пережить его неизбранные стихотворения, и всегда будут помнить, как помнят и теперь, не

избранные стихотворения, а поэзию Державина…

По сути, прав и тот и другой. Подряд сочинения Державина читать невозможно – вполне читабельные стихотворения чередуются с написанными словно бы на каком-то мертвом языке, да и попросту слабыми, созданными в состоянии официального вдохновения. В одной оде соседствуют строфы и высокой поэзии, и «реторической воды» (Белинский). С другой стороны, довольно часто издающиеся сборники избранных произведений Державина оставляют ощущение неполноты – обязательно некоторые важные, нужные, сильные стихотворения остаются за рамками обложки.

Многие сегодня знают, что был такой поэт – Державин, но привести хоть несколько его строк способны уже очень немногие. И в то же время державинские строки стали у нас крылатыми словами, поговорками, афоризмами. К примеру, уже упомянутое выше: «Пой, птичка, пой». Или такие: «Умеренность есть лучший пир», «Живи и жить давай другим», «Отечества и дым нам сладок и приятен», «Осел останется ослом, хотя осыпь его звездами», «Пчелка златая! Что ты жужжишь?», «Когда народ кого не любит, полки его и деньги – прах», «Где стол был яств, там гроб стоит». И конечно это, из оды «Бог»: «Я царь – я раб – я червь – я бог».

Строки —

Меня ж ничто вредить не может,

Я злобу твердостью сотру;

Врагов моих червь кости сгложет,

А я пиит – я не умру, —

не так часто вспоминаются, но, по-моему, они являются стержнем жизни Державина. Человека, не раз оскорбляемого, для государей – раба («Поди назад в Сенат, – кричал ему Павел I, – и сиди у меня там смирно, а не то я тебя проучу».), и в то же время знающего, что в отличие от других своих современников он не умрет. Ведь он – пиит. Поэт.

В могиле буду я, но буду говорить…

2014

Конгревова ракета (О Белинском)

Все чаще в нашей литературе случаются круглые даты с трехзначными числами. Двести лет со дня рождения Пушкина, двести лет со дня рождения Гоголя, сто лет со дня смерти Чехова, сто лет со дня смерти Толстого… Вот и у Белинского была круглая дата – двести лет как родился…

Эти круглые даты, и радостные, и печальные, равно важны – они заставляют вспомнить о писателе, поговорить о нем, а то и почитать (или перечитать) его произведения. Но они же всё дальше уводят от нас реальную фигуру. Заменяют жизнь историей.

Помню, как отмечалась 95-я годовщина со дня рождения Есенина. Многие говорили тогда, что Есенин – наш современник, он вполне мог жить и сейчас, писать, говорить о том, что происходит. Тем более что тогда был жив современник и знакомец Есенина Леонид Леонов… Через пять лет таких слов уже не было: сто лет – это век. Век Есенина кончился.

Век Виссариона Белинского кончился в 1911 году. Тогда звенел век Серебряный, реалисты были не в моде, классики поумирали, о Белинском забыли читатели, он перешел в ведомство историков литературы.

Но, как оказалось, ненадолго. Грянула Октябрьская революция, возникла новая литература, в которую большевики впустили первоначально очень немногих, в том числе и Белинского, сделав его вскоре неким мерилом литературы не только современной ему, но и создаваемой ныне (то есть в 1930—1980-е). На его статьи постоянно ссылались, оценивая то или иное произведение, его концепция литературы была основополагающей и бесспорной.

Со временем Белинский и его последователи (о которых он, кстати сказать, ничего не успел узнать и которые нередко заочно спорили с ним) – Чернышевский, Добролюбов и Писарев превратились в своего рода литературных чекистов. Они, подобно Ленину, который жил, жив и будет жить,

спустя сотню лет после физической смерти, выносили приговоры, чистили литературу от всего того, что не вписывалось в рамки не ими созданного социалистического реализма.

Неудивительно, что как только социализм рухнул, Белинский вместе с другими «революционными демократами» оказался в темном чулане истории. Это закономерно – за семьдесят лет Октября на них успело накопиться жгучее раздражение, «Взгляды на русскую литературу» Белинского или «Луч света в темном царстве» Добролюбова у многих поколений советских школьников и студентов вызывали одно только чувство – ненависть. Известно, что чем сильнее человека заставляют любить, тем сильнее он начинает ненавидеть…

Как, скажем, в 1970-е цитата из Белинского была обязательной в критической или литературоведческой статье, так в начале 1990-х стало считаться чуть ли не предательством по отношению к литературе Белинского даже упоминать. «Хватит, наелись!»

В последние годы его имя снова стало появляться в статьях. Даже цитаты. В основном вспоминают о нем критики нового поколения – пришедшие в литературу в 2000 годы. И это тоже закономерно.

На мой взгляд, 2000-е очень напоминают 1830-е, когда Белинский заявил о себе. Та же абсолютная власть в руках одного человека и попытки выдумать национальную идею (в 1830-е: «Самодержавие, православие, народность», в 2000-е нечто подобное), бессильный и бессмысленный, вроде бы, ропот оппозиции и – предчувствие, что русская литература созревает до чего-то большого, по-настоящему значительного. Тогда, в XIX веке, это предчувствие сбылось – последовали несколько десятилетий, когда литература была главным общественным событием, а писатели определяли не только эстетические вкусы, но и политические взгляды своих читателей. Большинство тех, кого мы называем классиками русской литературы, считали своим учителем Белинского, по крайней мере постоянно о нем вспоминали, и если спорили с ним (как, например, поздний Достоевский), то горячо, от сердца, как способны только повзрослевшие ученики… После первых же статей Белинского 1834–1836 годов русская литература вышла на новый уровень своего развития… А что последует за 2000-ми, когда заявило о себе столько новых и ярких писателей и особенно критиков?..

В общем-то, я и хочу здесь попытаться определить, важны ли нынешней литературе да и, прошу меня извинить за выражение, общественной жизни наследие Белинского и современная фигура критика, подобная ему.

***

Виссарион Белинский дебютировал в печати в 1834 году большой, но выходящей кусками в газете статьей, а точнее «элегией в прозе» – «Литературные мечтания».

По-моему, это самое свободное, в лучшем смысле юношеское произведение Белинского. Ему было тогда совсем немного за двадцать (возраст большинства современных выпускников вуза), он еще не имел опыта писания статей (несколько рецензий были лишь пробой пера) и потому вогнал в одно произведение все, что у него накопилось на душе, не очень-то заботясь о доказательствах, выплескивая чувства, не боясь кого-то обидеть, едко шутить (обзывая, к примеру, журнал «Литературные прибавления к Русскому инвалиду» «Инвалидными прибавлениями к литературе»).

«Литературные мечтания», по содержанию, вряд ли статья. Сегодня бы их назвали эссе.

Лейтмотив этого эссе – «У нас нет литературы». Мысль принадлежит не Белинскому, – об отсутствии у нас литературы заявляли и до него Бестужев-Марлинский, Иван Киреевский, Ксенофонт Полевой; Пушкин же отзывался в своих заметках: «Литература у нас существует, но критики еще нет…» Правда, Белинский сумел дать, по-моему, очень точное определение того, что должно считаться литературой:

…литературою называется собрание такого рода художественно-словесных произведений, которые суть плод свободного вдохновения и дружных (хотя и неусловленных) усилий людей, созданных для искусства, дышащих для одного его и уничтожающихся вне его, вполне выражающих и воспроизводящих в своих изящных созданиях дух того народа, среди которого они рождены и воспитаны, жизнию которого они живут и духом которого дышат, выражающих в своих творческих произведениях его внутреннюю жизнь до сокровеннейших глубин и

биений.

Вроде бы утопическая мысль и в то же время строгая, невыполнимая программа. Но она была реализована, по крайней мере, однажды: в 1850—1890-х годах. Тогда соединились дружные (хотя и неусловленные) усилия Льва Толстого, Достоевского, Тургенева, Некрасова, Гончарова, Салтыкова-Щедрина, Писемского, Алексея Константиновича Толстого, Лескова, народников, Гаршина, Чехова… (Конечно, литературоведы могут вспомнить «Взбаламученное море» Писемского и «На ножах» Лескова и посмеяться над этими «дружными», но я имею в виду не заединство, а общую работу.)

Белинский участвовал лишь в начале того периода, но вполне, проживи он нормальный для человека век, мог застать и появление Горького, – в 1895 году ему было бы восемьдесят четыре года. Но век критика, как правило, короток…

Стоит отметить и обязательное, по мнению Белинского, условие для литературы – «свободное вдохновение». К сожалению, такое вдохновение особенно в XX столетии в России (СССР), скажем так, не приветствовалось. Потому и советский период русской литературы вряд ли можно назвать литературой в полной мере. Так, были короткие периоды, когда свободное (или почти свободное) вдохновение могло проявить себя. Самые яркие из них – 1920-е годы и конец 1950-х – начало 1960-х…

Конечно, в литературе любого народа бывают спады и подъемы, но, к сожалению, государство способно контролировать свободу вдохновения. Великих книг, созданных свободно в атмосфере несвободы практически нет. «Мастер и Маргарита», быть может, единственный такой пример. (Можно назвать и «Тихий Дон», но роман этот начал публиковаться в относительно свободные 1920-е. А явись малоизвестный Шолохов со всеми четырьмя томами, скажем, в 1935 году, что бы сделали и с ним, и с его романом?..)

Поэтому мысль Белинского о свободном вдохновении, на мой взгляд, будет ценна всегда (главное – о ней не забывать). По крайней мере, пока литература и государство соприкасаются… Сегодня мы этого соприкосновения почти не видим, но это объясняется тем, что нет (или почти нет) произведений, на которые бы государство обратило внимание. По существу, и литературы как таковой не существует – то ли зачатки ее, то ли агония…

Еще одно, на мой взгляд, важное замечание по «Литературным мечтаниям» такое. Белинский пишет о Пушкине в прошедшем времени – Пушкин был, был, был, и отказывает ему в праве существовать теперь. Это и сегодня коробит, – ведь в 1834 году Александр Сергеевич находился в полном здравии, и хоть в его творчестве можно при желании увидеть упадок, но вычеркивать его из современной ему литературы – слишком круто.

Вот что мы читаем в «Литературных мечтаниях» (это самые мягкие слова о Пушкине, в них присутствует надежда на его литературное возвращение):

Пушкин царствовал десять лет: «Борис Годунов» был последним великим его подвигом; в третьей части полного собрания его стихотворений замерли звуки его гармонической лиры. Теперь мы не узнаём Пушкина: он умер или, может быть, только обмер на время. Может быть, его уже нет, а может быть, он и воскреснет; этот вопрос, это гамлетовское «быть или не быть» скрывается во мгле будущего. По крайней мере, судя по его сказкам, по его поэме «Анжело» и по другим произведениям, обретающимся в «Новоселье» и «Библиотеке для чтения», мы должны оплакивать горькую, невозвратную потерю.

В последующих работах Белинский продолжил литературные похороны Пушкина. В статье «О русской повести и повестях г. Гоголя» он не включил повести Пушкина в «полный круг истории русской повести», «может быть, чересчур полный», хотя в нем есть Марлинский, Одоевский, Погодин, Полевой, Павлов, Гоголь.

(Повестям Пушкина Белинский посвятил отдельную, разгромную рецензию, где назвал их «не художественными созданиями, а просто сказками и побасенками», и не забыл еще раз заявить о смерти Пушкина-художника. Точнее, об осени его таланта, которая «бесплодна, грязна и туманна».)

Приветствовав «радушно и искренно» первую книжку пушкинского «Современника», вторую Белинский попросту изничтожил, заодно отказав Пушкину в таланте издателя и журналиста: «…для нас было достаточно имени Пушкина как издателя, чтобы предсказать, что «Современник» не будет иметь никакого достоинства и не получит ни малейшего успеха. Мы этим нимало не думаем оскорблять нашего великого поэта: кому не известно, что можно писать превосходные стихи и в то же время быть неудачным журналистом?»

При этом Белинский действительно считал Пушкина великим поэтом, любил его и в 1831-м, когда написал свою первую рецензию на «Бориса Годунова», в 1834–1836 годах, когда хоронил литератора Пушкина, и позже. Без анализа пушкинских произведений Белинский не обходился ни в одной своей большой статье, постоянно цитировал, вспоминал, упоминал. Но все же Пушкин всегда оставался для Белинского прошлым – «совершенным выражением своего времени (курсив мой. – Р. С.)». Он изучал это прошлое, берег и ценил, но настоящее, пусть часто и спорное, было для Белинского куда ценнее…

Советские литературоведы объясняли нападки Белинского на Пушкина в его ранних произведениях тем, что критику не было известно все, что создал поэт. И дескать, лишь позже, когда стали выходить до того неизданные сочинения Пушкина, он понял, что это была за фигура, и посвятил его творчеству серию статей.

Этих статей одиннадцать. Из них собственно анализу пушкинских произведений посвящены шесть, или, точнее, шесть с половиной. Остальные – обзор литературы до Пушкина, теоретические рассуждения о словесности, критике. В этих шести (с половиной) статьях прозе Пушкина уделено лишь несколько абзацев. Они содержатся в последней, уже вынужденной (так как это был долг Белинского перед редактором «Отечественных записок», откуда он ко времени написания статьи уже ушел) статье, где дается беглая оценка «Медного всадника», «Маленьких трагедий», «Повестей Белкина», сказок…

Оценка «Повестей Белкина» Белинским 1846 года не отличается от его же оценки 1835-го: «…эти повести были недостойны ни таланта, ни имени Пушкина». Оценка «Пиковой дамы»: «Собственно, это не повесть, а анекдот…» «Дубровский» «сильно отзывается мелодрамою». «История села Горюхина» – хоть и острая, но все-таки шутка, «милая и забавная». Искреннее восхищение чувствуется у Белинского лишь «Египетскими ночами», но он не относит эту повесть целиком к прозаическим произведениям (и это справедливо: проза является лишь прелюдией к поэме-импровизации).

Стоит полностью процитировать абзац, посвященный «Капитанской дочке»:

«Капитанская дочка» – нечто вроде «Онегина» в прозе. Поэт изображает в ней нравы русского общества в царствование Екатерины. Многие картины – по

верности, истине содержания, мастерству изложения – чудо совершенства. Таковы портреты отца и матери героя, его гувернера-француза и в особенности его дядьки из псарей, Савельича, этого русского Калеба, – Зурина, Миронова и его жены, их кума Ивана Игнатьевича, наконец, самого Пугачева, с его «господами енералами»; таковы многие сцены, которых, за их множеством, не находим нужным пересчитывать. Ничтожный, бесцветный характер героя повести и его возлюбленной Марьи Ивановны и мелодраматический характер Швабрина хотя и принадлежат к резким недостаткам повести, однако ж не мешают ей быть одним из замечательных произведений русской литературы.

Вроде бы оценка положительная – и множество картин, которые «чудо совершенства», и в целом «одно из замечательных произведений русской литературы» (правда, точно так же несколько выше Белинский охарактеризовал все повести Пушкина в целом). Но недостатки критик увидел именно в основе «Капитанской дочки» – в образе Гринева и Марьи Ивановны. Белинский назвал их ничтожными и бесцветными. Так оно и есть (сколько бы школьные учителя ни убеждали нас в обратном) – это песчинки, попавшие в вихрь грандиозных исторических событий, и эти песчинки в меру своих слабых сил стараются следовать пословице, которая явилась эпиграфом повести: «Береги честь смолоду».

Ничтожный, бесцветный характер героя повести и его возлюбленной Пушкин сделал наверняка умышленно – это поразительно перекликается с его мыслью, записанной, по-видимому, в 1827 году, но опубликованной лишь сто лет спустя:

Одна из причин жадности, с которой читаем записки великих людей, – наше самолюбие: мы рады, ежели сходствуем с замечательным человеком чем бы то ни было, мнениями, чувствами, привычками – даже слабостями и пороками. Вероятно, больше сходства нашли бы мы с мнениями, привычками и слабостями людей вовсе ничтожных, если б они оставляли нам свои признания.

«Капитанская дочка» – это как раз такие записки; «Повести Белкина» – тоже; «История села Горюхина» – шедевр, которого Пушкин испугался и бросил, не закончив. И в «Капитанской дочке», и в «Повестях Белкина» действуют люди или великие (Екатерина II, Пугачев), или необыкновенные (Сильвио), но повествователи-то «люди вовсе ничтожные».

Впрочем, все это частные соображения, к тому же читателя начала XXI века, которому достаточно полно известно наследие и Пушкина, и Белинского. Белинский же судил о прозе Пушкина как его современник, но в то же время и как человек уже иной литературной эпохи. Эпохи Гоголя.

Да и сегодня, если бы «Барышня-крестьянка», «Выстрел», «Дубровский», «Капитанская дочка» не принадлежали перу Пушкина, их вряд ли бы заставляли читать школьников. Сам Пушкин, скорее всего, чувствовал степень своего таланта прозаика. Его произведения в прозе – более или менее удачные попытки начать новую литературу в прозе, а не великие результаты. И неспроста (если верить словам Гоголя) Пушкин уступил ему идеи «Ревизора» и «Мертвых душ». Не потому, что ему было недосуг превратить их в произведения литературы, а потому, по всей видимости, что чувствовал, что не сможет превратить. Ограничится анекдотами вроде «Пиковой дамы» или «Барышни-крестьянки».

Кстати сказать, удивительна реакция Пушкина на критику (хотя это вряд ли можно назвать критикой, скорее нечто более жесткое) в свой адрес в статьях и рецензиях Белинского 1834–1836 годов.

Пушкин с симпатией отзывался о критике в письмах, искал возможности лично с ним познакомиться. Он собирался привлечь Белинского к сотрудничеству в «Современнике» (что документально зафиксировано), но закрытие «Телескопа» (для которого в основном и писал в то время Белинский) из-за публикации «Философического письма» Чаадаева, арест редактора Надеждина, угроза ареста Белинского не позволили этим планам осуществиться…

В «Письме к издателю» – отклике на статью Гоголя «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году», опубликованном в третьем номере «Современника», Пушкин, скрывшись за псевдонимом А. Б., от лица провинциального любителя словесности, посетовал:

Жалею, что вы, говоря о «Телескопе», не упомянули о г. Белинском. Он обличает талант, подающий большую надежду. Если бы с независимостию мнений и с остроумием своим соединял он более учености, более начитанности, более уважения к преданию, более осмотрительности – словом, более зрелости, то мы бы имели в нем критика весьма замечательного.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/roman-senchin/kongrevova-raketa-kupit

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить